

Петро СКУНЦ

Незримый зверь, или Рождение музыки

С. ПУШКИН

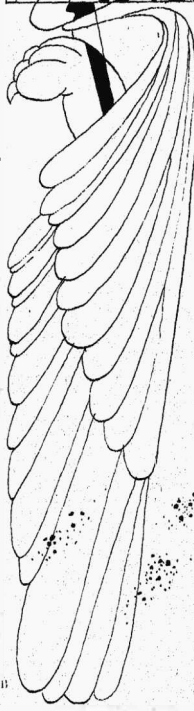
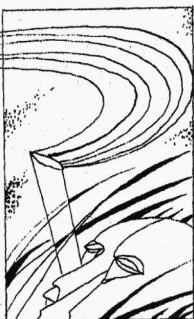
Было это в добронзовой зре.
Я из горных источников пил,
Еще путаясь в певчем размере
И не требуя беркута крыл.
Кровь еще мои очи сладила,
Уши ранил заточников рева,
И безмерного хаоса сила
Воротила дубье и корье.
Спал мой пес у пролома пещеры,
Дым горячий колол, словно зерно...
А меня к моим яствам вечерил
Не прискал мной невидимый зверь.
Не прикрыть его острые зенки,
И в одном лишь я вижу спасенье:
Зверя должен я приручить.
Но уже отжевала корова,
Конь облизал своим ржаньем плетено,
А меня все секла и колола
Зверя-призрака жуткая темя.
Брел медведя в а док из берлого,
Ну, а я стою — нет... Полюбу,
Что молится я Велесу-богу,
Ну, а надо б совсем не ему.
Зверь незримый с криками котлями!
Все шумел он лесным батожьем...
То не ты ли, Стрибоже, с ветрами?
Не Перун ли с гроками, с дождями?
И тогда для Стрибога с Перуном
Заколка я двух тучных быков.
Думал я: оживу и не ружу
Под их мощной и шедрой рукой.
Прошору — и истопчут во гнев
Промелька зверя... Но нет, боги, нет!
Не схватите его жерло неба, —
Этот зверь копошится во мне!
И когда я во злобе бесила
Сам, шалел, равнял тетиву,
Завывали в руке сухожилы —
Этот зверь мой рыдал наяву!
И не знали в чанливых гаданях
Духоткачи Стрибог и Перун,
Как я вынул зверя к рыбакам
Под шипенье и тряс бичиных струн.
Боги, боги, да дерзость и смелость
Вы готаме сломать нас, как жерд,
И для вас эти языки — нелепость.
А они — священный путь наших жертв.

Кровь свою ям на блюду открыла я,
Мясо режу и кости скоблю.
Но останутся мне сухожилы,
Их я в звук перелью, перелью.
Заплести их моему в зривы змея,
Заарканить за чашечки-сфер,
Но служить никому не посмеет
Мной одним приручаемый зверь!
И сегодня в раскоре железном,
Когда люди дешевле, чем лом,
Вы напрасно мне в душу полезли,
Боги спаси, с языческим сном.
Потому что спасенье — химера!
Во зрехах я по горло оляю.
Я Христовой не выдержал веры
И Христа вам позволил распять.
Нисусе! С тобой ободемся
Ложким небом, заклеившим рот,
Ты, я зерно, навеки вознеси,
Не спешу же обратно, «я народ»!
Потому что с народом-народцем
Горький хлеб ни без меры едим.
Мы возрадвали под сталинским солнцем,
Умереть бы хоть нам под своим.
Но кислотные ливни все лютуют,
Плащете временае злая дыра...
И с того-то не жить мне, как люди,
Умирать по-людски мне пора...
И рыдох для меня — слишком пресен,
И обрыдли финты НЛО,
И держусь я лишь бедовских песен,
Пленным беркутом щеря перо.
Станешь море пить с этой тоскою...
И ко мне из горных каверн
Наплывает и мрет за спиною
Мой мучитель, незримый мой зверь...
Может, сын мой песню поручит,
Может, Бог шикнотжит во тьме.
Но скорей меня зверь мой задушит,
Семизвучек взмоетший во мне...

Эгоистическое

Я плыву к вам продуктом распада:
Чист, как дождь, и чистей, как тата.
Никогда мне не бьют мою радость
И несчастий новек не раздате.
А все встречи с тобой — за горами,
Где в скоплениях толк — ты одна.
Я кидался тобой, как дарамом,
Оказалось, и жид — «задарам».
В жалкой чаше и в горде мглистом,
Пусть в цветах, пусть в цвету полоник,
Все одно: я умру эгоистом.
Не с тобою, не с ними — один.

Перевел с украинского В. ЕВСЕН
УЖГОРОД, 1988



Бронюс Радзивицус ушел из жизни в 1980 году. И можно только гадать, что подтолкнуло писателя к трагическому выбору. Удуше застоя, лихая общественная мораль непереносимы для чистых сердец.

Остался роман «Предрассветные дороги», высоко оцененный читателями и критикой, остались рассказы, один из которых «ЛГ» предлагает сегодня. Осталась память о светлом даре художника, глубоко веровавшего в возрождающую силу родной земли...

Я СМОТРЕЛ, как она накрывает на стол — тонкие лососе, платки, мягкие округлости грудей, локонные движения. За оторванными уже столами почти теплая апрельская ночь застала нас в пустой рудничской избе на краю леса. Мы были здесь совсем одни, и только шестидесятилетняя бабушка, в тонкой шифоньерке, шаршающая покой большого деревянного дома. Высоким апрельским тиши, даруемой солнцем, зная, что в этот поздний час, в черном небе снова туман, пробивались серые тучи, с поросшей деревянкой пригорня, где когда-то я лежал с друзьями, сваялся от зноя в густой траве, до тех пор, пока в шиденье не раздавался свисток, с горы, голос матери, окликаявший меня по имени: «Юлас, ступай домой!» — оттуда тоже струилось сияние.

Ее голос шарил над мной и как бы рассеивал по поляне лучами света. И вот теперь я возвращаюсь домой, не молчат двери и избы, томная тишина выплывает из всех углов, и лишь лесная незнакомец птицы доносится через распахнутое в весту окно. Ни собачьего лая, ни шума лисисты. Все ясное в комнатах, все тропинки оверст хранят молчанье. Ожидание разлитое в ночь. Кого ждут этой полнотой порой? Стол, скамья, с которой спешивались, бывало, мои босые ноги, картинки по стенам с изобразительными сызхат — все предметы словно не решаются открыты мне что-то важное.

Как приговора, жду их слов и боюсь, что из-за громких шагов женщины, из-за нескончаемого, упорного жонжирования, упорного жонжирования по тьме скрипа наружных освещенных дверей не услышу их. Пропущу какой-нибудь полудный значимый звук, если он вдруг раздастся, а он должен вот-вот возникнуть, да, может, уже зародился в улах опустевшего дома или выплывает сейчас со двора. Я гляжу на меркнувший в тумане лес, устроился у окна и гляжу — выгнуч-



Бронюс РАДЗИВИЧУС

Рассказ

В старом доме

тый ролик месина так я не очертил его контуров своим слабым светом, разве что память хранит их. Красное пламя лампы. За теплую апрельскую ночь все вещи вокруг как бы вливаются в нас. Здесь, возле отворенного окна, мы беззащитны перед любовью из атеизма. Ах, да присядь же ты наконец к накрытому столу, слышишь? Вот опять доверся голос неведомой птицы. Мне всегда тревожно было думать о том, что поля безлюдны, что над маленькой деревенькой и над изобой нависла ночь и что дес стоит печальный, таинственный. Там всегда подстерегала опасность. И если бы не голоса матери и отца... Но и они бесшумны, эти негромко звучащие в сумерках под сводами срубленной своими руками избы деревянные голоса. Давное чувство снова оживает во мне, только теперь я не вижу, как я сижу на деревянной скамье, не касаюсь ногами пола. Тихо, очень тихо едем мы ржаной хлеб, и с легким звоном подпрыгивает на столе ложка. Ночь. Источает знойной дух пахота, на деревьях еще не успели дохнуть почки, а за окном птицы выливаются весту. Ты спишь, но я не смыкаю глаз, тишина стоит в доме.

И лишь месяц не отвернул на небо свой путь, пока утренняя заря не коснулась оконных рам, и, застав дышащие, вслушиваясь в эту тишь и яду. И вдруг... Ровно в полночь — а может, был уже второй час ночи — лягнула дверной засов. В сенях послышалось осторожное шаг. Старались не потревожить твой сон, и поднимаясь с постели и опять усаживаясь подле окна. В такую ночь возвращаются те, кого уже нет. Они хотят говорить с нами. Тихая жизнь и такая же тихая смерть. Тихая смерть в безмолвной пустоте полей. Но что делать мне, мне, забредшему сюда из далекого горда, в окружении жизни, которая минула и которую уже никто не вернотит и не продлит?

— Почему ты ушел отсюда? — спрашивает отец, усаживаясь за стол напротив меня. — Пахает пора... Чего жалуешься наши поля? Почему позволяешь тить избе? Родительской избе. Ветром вол срывало с крыши солому, соседи растаскивают на растопку ригу, траву заглушили все тропинки и родники. Хорошо, что хать вернулась. И не откладывай, прямо с утра принимайся за работу, да и жене пора подниматься. Тьво-то мать будет не приходило... — с усмешкой говорит он, бросив взгляд туда, где спишь ты.

— Ничего не выйдет! — отвечаю я. — Завтра мы уезжаем. Вот только расстает, и пойдем на шоссе.

— Да, отец.

— Пойдете? Опять?

— Что ж, ступайте себе, раз вам там лучше. Жаль, нет гнедого, не смогу подвести. Дорогу-то нынче развезло. Да и телега без колес, осн же-лезные совсем в земле ушли.

Он постукивает по столешнице копытными пальцами, потом поднимается. В свете зари мне видно, как он быстрым шагом проходит под окном, сворачивает к сараю и исчезает, даже не обернувшись.

А ранним утром мы покинули этот дом. С холма еще раз оглянулись на усадьбу. Выходило солнце. Дом глядел на нас своими заколоченными окошками. Всплывал парил жаром. Вокруг пробуждалась жизнь, а дом казался умиротворенным, тихим, точно кландица. Огромный вымерший дом, в последний раз отозвавшийся какими-то далекими звуками — они как будто ронились в сумраке комнат и не решились выбраться через дверной проем наружу.

— Идем скорее, — затормозила жена, — идем же скорее на шоссе.

Идем, идем, — отозвался я, пятясь назад.

Перевел с литовского
Наталья ВОРОБЕВА